

Александр Грин

В разливе



Александр Степанович Грин

В разливе

Аннотация

«Пароход шел вниз по течению, держась горного берега. В темной воде разлива мерно дрожали и плыли его огни – маленькая движущаяся иллюминация, – зеленое с красным, похожее на глаза безобидного, праздничного дракона...»

Книга также выходила под названиями «Бытовое явление» и «На реке».

Александр Грин

В разливе

I

Пароход шел вниз по течению, держась горного берега. В темной воде разлива мерно дрожали и плыли его огни – маленькая движущаяся иллюминация, – зеленое с красным, похожее на глаза безобидного, праздничного дракона.

Холодный апрель дышал сыростью, широким простором и пресным запахом еще не растаявшего по берегам снега. Пассажиры первого и второго класса легли спать, в третьем еще пили чай с сушкой, бережно обсасывая кусочки сахара и одалживая у соседей лимон, чайные ложки, сахарные щипцы. Слепой, давно надоевший гармонист, окруженный матросами и бабами в душегрейках, играл волжские песни; его молодое, пришибленное лицо сохраняло профессионально-скорбное выражение, в то время как привычные пальцы равнодушно перебирали лады трехрядки, фыркающей потертым мехом.

Капитан, похожий на капитана Немо, суровой внешности, плечистый, с черной окладистой бородой, в валенках и полушубке, крытом сукном, стоял у штурвала, рассказывая окончившему от холода лоцману историю с бирками, кончив-

шуюся печально для водолива с Судацевской баржи.

Быстрый, певучий, окающий говорок капитана странно не шел к его романтической внешности.

– Н-да, – сказал лоцман, скрипя штурвалом. – Жадничество, конечно, оно вредит.

– Я же говорю, Ермилин, – возьми он десять кулей – лучший ему в толы, и кончено. Матрос-от, что бирки рвал, шустрый был, что говорить, кукарекни жулик, да зарвался. Тачки бегут, а хлебник, хозяин, – у сходен смотрит. Конечно, подождать бы, а матрос и вдави бирку в куль, да свои из руки рассыпал, нагнулся дать и растянулся под тачку. «Стой!» – хлебник кричит, подошел, – бирка-то, в куль неподавленная, торчит. – Что такое?.. Воровать?! Давай кули считать! Полезли в трюм, бирки посчитали – четырнадцать кулей свистнули!..

– Н-да! – сказал лоцман, щуря глаза на темноту. – Жадничество-то, оно из кармана норовит...

Капитан потоптался; резкий ночной ветер слал холод и скуку, и, казалось, от скуки вздрагивал маленький пароход, бивший маленькими колесами черную воду разлива. Невидимые редкие льдины шуршали, задевая обшивку судна; вдали мелькнул крошечный огонек, вильнул и поплыл навстречу, разгораясь все ярче, как на ветру уголь.

– Тырышкинцы, – сказал капитан.

– Пошто тырышкинцы? – возразил лоцман. – Тырышкин пароходы еще в затоне держит. Энто казанские.

Капитан взял рупор. Встречные огни парохода двигались слева и совсем близко, судя по ясно различаемым, освещенным фонарем, белым доскам площадки.

– Кто таки-и-и?.. – закричал капитан в рупор, я странный, отраженный медью трубы голос его заухал далеким береговым эхом.

– Ты-ры... ы-ы... – гулко пролетел сдавленный возглас.

Капитан пососал усы и, снова приставив рупор, крикнул из всех сил:

– У ты-рыш-ки... на лок-тя-а-х... кафтан... про-дра-ал-ся-а-а... – Повернувшись ухом к врагу, он с нетерпением ждал ответа, улыбаясь неожиданному развлечению.

– Сам ду-у-ра-ак!.. – крикнули с парохода.

II

Капитан, поужинав холодной телятиной с огурцами, лег спать. Немного погодя сменился и лоцман, но спать ему не хотелось; напившись в лоцманской чаю, он вышел на палубу, тыкаясь среди сонных, распростертых у машинного кожуха, мужицких тел, задумчиво послонялся у кухни, где повар, ворча и проклиная буфетчика, устраивал себе ложе на остывшей плите, затем подошел к машине, облокотился о ящики с гвоздями – груз, следовавший в Нолинск, и тяжело засопел, разглядывая в тысяча первый раз отполированные, крутящиеся кривошипцы.

Лоцман походил на угодника, какими рисуют их на иконах, с той разницей, что благочестиво-суровое выражение уступало в его лице место рассеянному, добродушному лукавству старого мужика. Ему было давно за сорок; лохматый, в красной бумажной рубахе и валенках с белыми пятнышками, он казался теперь мужичонкой, остановившимся поглазеть.

– Черта глядишь, – сказал он масленщику, длинному парню с недоброкачественным цветом лица. – Глядь, глядь ужо.

Масленщик вытирал свертком пакли нагретую маслянистую сталь.

– Если ты потревоженный человек, – медленно сказал он, скашивая глаза на сверкающие диски эксцентриков, – то отчепись.

– Уши тебе мало драли, – зашипел лоцман. – Я, чать, старшей тебя. Ты как старшему отвечать должен?

Масленщик перевел каменный взгляд с машины на свои руки, пестрые от нефти, сплюнул и снова с остервенением принялся подвинчивать крышки масленок. Лоцман, помолчав, продолжал:

– Если оно пар, то ты объясни, что и к чему. Ежеле к тебе по-людски, а не то что как... Насчет бани, например.

– Какая баня, шут еловый? – вскричал парень. – Спи иди, спи; глаза-то уже не смотрят!

– Баня, – конфузливо, но с оттенком начальственности ухмыльнулся Ермилин, – баня на паре... паром дышит... Ну...

Я к тому, что баня не приспособлена. По-настоящему, ежели пар, то и баня должна ходить.

Масленщик хмуро ворочался между взлетающими рычагами.

Лоцман сказал:

– Баяли, что баба на пароходе родит.

– Наплевать, – проворчал парень.

– Наплюй, наплюй... – сонно протянул лоцман, пришедший в добродушное настроение от чая и тепла машинного воздуха. – Наплюй ей, козявке, в хвост. А папироску хошь?

Парень ослабился.

– Дай! – сказал он, протягивая грязную руку.

– Ну на уж.

Бережно нащупав в кармане желтенькую коробочку, Ермалин, почти раздавливая ее заскорузлыми пальцами, извлек папиросу и торжественно протянул масленщику. Закурив, оба выпрямились и стали держать руки с куревом как-то странно вывороченными, на отлете.

– Малиновка, – сказал лоцман. – Шесть копеек.

– А, – радостно изумился парень, затягиваясь и кашляя. – Скоко жалованья-то берешь? – спросил он.

Лоцман почесал бороду.

– Два ста рублей. Два ста рублей – это за навигацию. Собственный харч.

– Ага! – кивнул парень. – А я десять. Десять рублей.

– Тек-с, – сказал лоцман.

– А как ваша должность, – переходя на «вы», осведомился масленщик, – должность ваша, я полагаю, трудная?

– Кака трудность. – Лоцман махнул рукой. – Весной, осенью, окромя лета, – колесо ворочай, вот и трудность вся тут. Конешно, фарвахтер... насчет этого, скажем, каждый, соблюдающийся себя лоцман должен знать... А летом перекаты мают – верно; попыжишься, поскрипишь... Река усохла; летось ишшо песку на эстоль нанесено было...

– Случаются истории, – глубокомысленно сказал парень.

Лоцман положил голову на руки. Глаза его щурились; яркий электрический свет пронизывал бороду, сверкая рыжими искрами жестких волос, и весь он был похож не то на ободранного кота, не то на юродивого. Крепкая мужицкая мысль дремала в морщинах его лица; разило от этой мысли запахом овчины и пота, лесами и размокшим от весенних дождей суглинком.

– Чугунку вот провели, – неожиданно сказал он. – Кои хрестьяне противу ратовали, а хоть бы што... Шурин из Блудова приезжал, бает: покатил, черт, фырчит, пар из ноздрев, а наше бабье с лопатами на рельцах понесало: орут, скулят... а оно прет... пару этого, твоего пусти-ли, пошпарило кому ляжки... убегли.

– А-к што ж, – сказал масленщик. – Народ даже совсем правильный, но нет в нем понятия... Машина! Я знаю, што машина, а почему нет в машине твоей линии? Машина – она должна все сообразно... А в твоём паре никакой

линии нет.

Масленщик смигнул, криво улыбнулся, задумался, но все же не понял.

– Какая ж в ней линия, – развел он руками, укоризненно поглядывая на аккуратные взлеты поршней. – Линии в ней, я вам скажу, не полагается. Железо... оно... известно.

– Ты послушай-кось, – протянул лоцман таким голосом, каким убеждают норовистую лошадь подойти ближе. – Шашнацать али двадцать годов... двадцать клад... отец мой здесь путался в лоцманах, а я при нем вертелся. Мне, почитай, все четырнадцать тогда были. Тятка был шустрый, а Судачиха, мать теперешнего-то облома, жалованье всем убавила... По весне вышли мы из затона, вот как теперь, в водополе... Тятка и налижись. – С горя, кричит, пью, потому обижают!.. Пей, робя! И накачай он матросов сивухой до тошноты. Весело, пляшут, думаем, хошь капитан тверезый, а он ранее всех вдрызг... Ну вышла вот такая пьяная линия. А за полночь стригануло; помахивает тятка эдак колесо, а Мамаев, подручный его, кричит: «Куда едем! Почему, грит, обязаны мы идти по воде? А может, фарвахтер влево?! Где фарвахтер?! Говори сейчас, грит, где фарвахтер, а то сейчас в воду спихну».

Тятка эдак бараном стоит, невдомек ему. «Чего ты?» – «А то, – говорит Мамаев, – что мы есть вольные казаки!» И залился он, парень, горькими слезками. Отец в раж вошел. «Фарвахтер?! – грит. – Я тебе дам фарвахтер! Режь!»

Да как махнет штурвалом, а пароход загудел. Взрыли мы носом воду, поплыли. Нет никого, ни помощника, ни самого капитана. «Полный ход!» – «Есть!» А я себе стою, занятно выходит. Плыли мы, плыли, огоньки светятся. «Пристань! – тятка кричит. – Режь!» И запели они с Мамаевым совсем несуразное, пьяные, жарко им, а глотки на ветре испетушились.

Жалостно так поют себе, а меня смехи разбирают. И вдруг, значит, произошло смятение: треск, колдыбачит во круг, пароход то дергает, то отпустит, качает – неведи бог.

А маненько светать стало, смотрю я – плетни кругом, домишко паскудный такой, тесовый. Вкокались мы ни много, ни мало в поповский огород; водополье большое, полсела затоплено. Въехали с треском, вроде как на манер ангельского копья в сатанинское туловище. Пассажиры бунтуются. Капитан пьяный, лицо у него мутное. «Есть неудовольствие?» – спрашивает. «Есть!» – «Ссадить тех, у которых неудовольствие!»

Высадили мы пассажиров, напоили буфетчика. Пьют. Поп с попадьею на балкончике ворошатся, воют, а мы им платочками помахиваем. Дали задний ход, тронулись. И поплыли мы, любезный, с пьяных глаз вверх, в обратную сторону. К селу к какому-то по пути пристали; так и так, мол, – объявился гулящий пароход, приبلудный, – просим мамзелей, женский пол. Всучили нам тут штук шесть неумытых: кои солдатки, кои так, озорницы; ладно, мол, опосля разбе-

рем.

Поплыли, пьем, баб бить стали. Однако дня через полтора напитки вышли, дров нет. Забрали еще в деревне одной дров, водки, плывем в Казань. Шум, драки... соблазн по всем статьям. И что за отчаянность в те поры на всех напала – ума не приложу. А тут кочегар ходит, хихикает; машинист, говорит, утоп. – Ладно! Утоп – поставить Митьку за машиниста! Жги дрова! А Митька был кухарчонок, около плиты все, известно, ему это дело сподручнее. Однако затопил он не так, котел трещать стал, видим – взорвет.

Закрыли топку, плывем на манер баркаса. И плыли мы так до Казани, там уж нас, на устье, полиция снимала.

– На-кось! – сказал масленщик. – Какие дела! Линия!

– Линия и есть! – убежденно кивнул Ермилин.

– Насчет пьянства ежели – линия! – протянул парень. – А касательно машины линии никакой нет.

– Глухим служить – две обедни звонить, – сказал лоцман. – Я к тому... да ты... паря, пойми: перво-наперво – машина... для чего? Чтобы, значит, пароход ехал к своему пункту. А ежели она и для пункта и для попова огорода, – кака же она тогда настоящая, правильная машина? Машина, значит, без линии.

– А где ты такую машину видел? – снова переходя на «ты» и неизвестно почему обижаясь, вскипел масленщик. – Нет, ты докажи!

– Докажу.

– А вот докажи!

– А и докажу! Ты вот поплюй-ка, поплюй козявке на хвост да выдумай.

– Выдумай! Эко, выдумал! Ты докажи!

Лоцман зевнул и пошел в сторону. Лицо его посерело, глаза стали острыми и упрямыми, а рот скашивался в презрительную усмешку. Его одолевал сон. Последнее «докажи» парня поймало его у самых дверей каюты; он сплюнул и благодушно выругался.

Ночь бледнела. Огромное свинцовое зеркало весенней воды тонуло в матовых испарениях, светлые изгибы волны бежали за пароходом, шумя однотонными сливающимися всплесками. Слева, над плоским берегом, пробивая туман, розовел свет. Снег, запавший на островах и озерах, колот лицо резкой весенней свежестью. Все дремало. И в полной утренней тишине реки не было других звуков, кроме воркотни лопастей, бивших воду.

Другой лоцман, молодой скуластый крестьянин, туго подпоясанный кушаком, в шапке с наушниками, говорил подручному:

– Беги-ка ты, беги, Митрий, насчет картошки.